

## ВОЛЬНОСТЬ И ЗАКОН

(ПУШКИН И ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ)

### 1

На всем протяжении своей жизни Пушкин относился с большим интересом к эпохе Великой французской революции. К событиям ее он многократно обращается в своем поэтическом творчестве — от оды «Вольность» (1817) до стихотворения «К вельможе» (1830). В «Арапе Петра Великого» (1827) сжато, но выразительно охарактеризовано французское общество предреволюционной эпохи. В статьях, предназначенных для «Литературной газеты» и «Современника», поэт в 30-х годах не раз возвращается к различным аспектам той же темы. Наконец, в 1831 г. он задумывает специальный исторический очерк о революции, собирает для него материал, но замысел этот остался неосуществленным и дошел до нас лишь в виде ряда планов, выписок и набросков. К этому следует добавить, что в библиотеке Пушкина сохранился весьма обширный круг разнообразных книг и источников по истории революции. Мы встречаем здесь и направленные против французской революции памфлеты П. Ж. Нугаре (1797) и Э. Берка (французский перевод 1823 г.), и обширный свод мемуаров и документов по истории революционной эпохи («Процесс Людовика XVI, Марии-Антуанетты, Марии-Елизаветы и Филиппа Орлеанского» (1821), четырехтомное издание «Дебатов национального конвента» (1828), сочинения и письма Мирабо и биографические материалы о нем, «Коллекцию мемуаров, относящихся к французской революции», в 23 выпусках, изданную в 1821—1825 гг. Бервилем и Барьером, и т. д.).<sup>1</sup> Пушкин был знаком также с книгами о революции Ж. Сталь (1816—1817; опубл. 1818), Ж. Ш. Бай-

еля (1822) и А. Тибодде (1824), с «Историей цивилизации во Франции», «Курсом новой истории» Ф. Гизо (1828—1832), историей революционных войн Жомини, художественными произведениями о революции своих французских современников, поэтов и писателей (Ж. Жанена, Ш. Нодье, А. де Виньи и др.), не говоря уже о творчестве Э. Лебрена, А. Шенье и других поэтов эпохи самой революции.

Чтобы верно разобраться в отношении Пушкина к французской революции, в отдельных его суждениях о ее событиях и деятелях, следует, однако, не забывать о двух важнейших обстоятельствах, повлиявших на это отношение.

Пушкин не был современником французской революции. Его детство и отрочество пришлось на наполеоновскую эпоху. В это время режим Наполеона не мог не рассматриваться как исторический результат цепи революционных событий, ему предшествовавших, расчистивших Наполеону дорогу к власти и подготовивших его завоевательные войны. Все это — особенно в России — в той или иной мере не могло до определенного момента не отбрасывать тень и на саму революцию. Не случайно в хронологически наиболее раннем произведении Пушкина, где упоминается о событиях французской революции, — оде «Вольность» — они рассматриваются именно в связи с оценкой Наполеона, а казнь Людовика XVI — как непосредственный пролог к воцарению «тирана», «злодейская порфира» которого после этого тяжелым грузом легла на Францию и французский народ, «сковав» их новой, худшей цепью. Лишь после того как со времени падения Наполеона прошло известное время, в сознании молодого Пушкина Наполеон предстал не только как порождение революции, но и как ее «убийца», что существенно изменило взгляд поэта на революцию.

Но еще важнее другое. События французской революции не были для Пушкина предметом отвлеченного исторического интереса. Отношение великого поэта к ним оставалось всегда тесно связанным с занимавшими его вопросами русской жизни, а также — особенно в 20-х и 30-х годах — с насущными и злободневными вопросами жизни народов Европы и всего человечества. При этом существенное влияние на взгляды Пушкина имели поиски им тех исторических сил русской жизни, которые могли способствовать ее преобразованию. И здесь — при всех исторических изменениях и поворотах во взглядах Пушкина — особенно важную роль для его оценки событий Французской

революции имела оценка поэтом роли передового и мыслящего дворянства как необходимого исторического звена в сложных взаимоотношениях в России самодержавия и «черного народа». Пушкин с ранних лет жизни глубоко сочувствовал русскому крестьянину и призывал к его освобождению от крепостного права. Но хотя и в «Деревне» (1819), и в заметках Пушкина по русской истории XVIII в. отмена крепостного права и изменение условий жизни народа мыслятся поэтом как необходимое условие общего изменения политического и социального строя современной ему России, Пушкин до конца жизни продолжал видеть в передовом и мыслящем дворянстве нужный не только русскому государству, но и самому крестьянству оплот его свободы, независимости и благосостояния. А это оказывало непосредственное влияние и на оценку Пушкиным французского дворянства и его роли в эпоху Великой французской революции. Подобно тому как в России Пушкин склонен был проводить различие между дворянством, служащим опорой самодержавия, и лучшими независимыми представителями дворянского класса, унаследовавшими вместе с именами своих благородных предков, запечатленных в славных летописях русской истории, свойственные им честь, благородство, независимость от престола, глубокое чувство ответственности перед Россией и русской культурой, — Пушкин проводил подобное же различие между двумя противоположными частями французского дворянства эпохи революции. В отличие от паразитической придворной знати и провинциальных помещиков, державшихся за старые порядки, передовую часть французского дворянства XVIII и предшествующих веков Пушкин рассматривал как органическую составную французской нации, неотделимую от блеска французской культуры, ее военного прошлого и славных исторических традиций. Поэтому, как мы увидим ниже, Пушкин в своих заметках о французской революции 1831 г. резко возражал Сиейесу на его заявление о том, что нация равна третьему сословию (без дворянства и духовенства),<sup>2</sup> а в черновом наброске 1830 г., как мы увидим ниже, писал: «В крике „*Jes aristocrates á la lanterne*” — один жалкий эпизод французской революции — гадкая фарса в огромной драме» (XI, 171; XI, 282).

Наконец, существенным обстоятельством, повлиявшим на оценку Пушкиным Французской революции, является осуждение им террора 1793 — 1794 гг., вину за который Пушкин всецело

возлагал на якобинских вождей, прежде всего на Марата и Робеспьера. Пушкину (так же, как и большинству его современников) не было известно, что ни Марат, ни Робеспьер, — оба воспитанные на идеях Ж.-Ж. Руссо, — на деле не абсолютизировали террор (на который оба они смотрели как на временную, вынужденную меру), что оба они после бегства Людовика XVI и Варени определенное время противились его осуждению и что после победы Горы над Жирондой якобинцы оставили осужденных жирондистов под домашним арестом. Не знал поэт, вероятно, и того, что Робеспьер был противником объявления Францией войны европейской коалиции, так как считал, что главной задачей Законодательного собрания было довести до конца революционные преобразования в самой Франции и что политика революционного террора фактически была насильственно навязана якобинцам их противниками как единственно возможное в создавшихся в 1793—1794 гг. (до победы под Флерюсом) чрезвычайных условиях средство одержать победу на фронтах и довести революцию до конца, тем более что сторонниками террора было огромное количество мещан и маскировавшихся под «ультралевых» обогащенных революцией спекулянтов национальными имуществами.

Непрязненное отношение Пушкина к якобинскому периоду революции разделяли большинство декабристов<sup>3</sup> и едва ли не вся европейская историография того времени.<sup>4</sup> Начиная с эпохи термидора образы Марата и Робеспьера рисовались и во Франции, и в России в литературе и публицистике исключительно черными красками. Даже Бабеф в день 9 термидора был противником Робеспьера и лишь позднее осознал его исторические заслуги. Во Франции в эпоху Наполеона имя Робеспьера было запрещено упоминать в печати. Якобинский период революции осуждали м-м де Сталь в своем «Рассуждении о главнейших событиях Французской революции», хорошо известном Пушкину в зрелые годы, а позднее Минье и Тьер.<sup>5</sup> Историческая переоценка Робеспьера (а несколько позднее и Марата) начала происходить лишь после смерти поэта, в 40-х и 60-х гг. Если учесть все это, способно вызвать удивление не столько отрицательное отношение Пушкина к периоду Конвента и якобинской диктатуры, сколько такие примечательные факты из биографии поэта, как установленный Ю. М. Лермонтовым факт чтения Пушкиным речей Сен-Жюста,<sup>6</sup> профиль Робеспьера, набросанный поэтом рядом с профилем Мирабо и Наполеона в его

одесских черновиках,<sup>7</sup> и, наконец, его знаменитые слова: «Петр I одновременно Робеспьер и Наполеон (Воплощенная революция)» (XII, 205), слова, в которых Пушкин в 30-х гг. отдал должное масштабу деятельности и исторической роли Робеспьера.

Осуждение Пушкиным эпохи террора не может вызвать, таким образом, особого удивления, если вспомнить, что его разделяли Карамзин (сохранивший, несмотря на это, на всю жизнь глубокое уважение к Робеспьеру) и Радищев, элегия которого «Осмнадцатое столетие» была опубликована в 1807 г. и могла стать известной Пушкину еще до поступления в Лицей, как и отразившие трагические настроения, овладевшие Карамзиным в эпоху «Ужаса», письма Мелодора и Филалета. Позднее, в 1836 г., в предназначенный для «Современника» статье «Александр Радищев» Пушкин писал, комментируя радищевское «Осмнадцатое столетие»: «Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время *Ужаса*? мог ли он без омерзения глубоко слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра» (XII, 34). Как мы увидим ниже, содержащееся в этих словах противопоставление двух эпох Французской революции, характеризующихся именами Мирабо и Робеспьера, было одним из наиболее устойчивых моментов в оценке ее Пушкиным.

Мы привыкли в наше время — и это вполне закономерно — рассматривать просветителей XVIII в. как прямых идейных предшественников французской революции. Того же взгляда — как мы увидим дальше — придерживался и Пушкин в свои зрелые годы. Но просветители XVIII в. были, как правило, соронниками мирного преобразования общества. Французская же революция показала не только, что разрушение феодализма и низвержение абсолютизма во Франции было невозможно без применения революционных средств борьбы: закрепление результатов революции потребовало свержения королевской власти, установления республики, якобинской диктатуры, применения террора как средства борьбы с контрреволюцией.

Молодой Пушкин и большинство его современников смотрели на эти вопросы существенно иначе, чем мы. Сохраняя веру просветителей в возможность мирного преобразования общест-

ва, они считали политическое насилие допустимым лишь в борьбе с тиранией. Однако тирания для Пушкина (как и для Монтескье и других просветителей XVIII в.) была вовсе не тождественна с монархией как таковой. В основе государства лежит общественный договор, — полагали они. В зависимости от его условий государство может быть монархией, аристократией или республикой. А отсюда следует, что не всякая монархия есть зло, равно как и не всякая республика — благо. И монархия, и республика равно становятся злом, когда в них нарушаются гражданские законы и они превращаются в деспотию. Вот почему сторонник конституционной монархии Мирабо вызывал у Пушкина глубокое уважение в противоположность Марату и Робеспьеру. Мирабо защищал — по Пушкину — закон и свободу, а Марат и Робеспьер — гильотину. Якобинская диктатура и Конвент были для Пушкина поэтому синонимом террора.

В подобной системе взглядов, отраженной в стихотворных и прозаических произведениях Пушкина, посвященных французской революции, содержится зародыш верной мысли о том, что характер общественного устройства определяется не его политическими формами, а иными, более глубокими причинами. Но в чем реально состоят эти причины, Пушкин, так же как и просветители XVIII в., при всей свойственной ему ненависти к деспотизму и демократических симпатиях, не отдавал себе ясного отчета. Отсюда историческая противоречивость взглядов Пушкина, сказавшаяся в его оценке французской революции. Не принимая ни самодержавной тирании, ни революционной диктатуры якобинцев, Пушкин стремился отыскать между ними своего рода «золотую середину» — и этой «золотой серединой» в его глазах оставалась до конца жизни такая форма общественного устройства, где осуществляется некое идеальное равновесие между верховной властью, дворянством и народом, образующее фундамент общественного здания. Свое отчетливое выражение эта политическая программа получает в исторических и публицистических набросках Пушкина 30-х годов, но зачатки ее ощущаются уже, как будет показано ниже, в его оде «Вольность».

Отрицательное отношение Пушкина к якобинскому террору вполне закономерно: как поэту-гуманисту ему уже в лицейские годы, а тем более позднее был глубоко чужд аскетизм и «мечтательный фанатизм» якобинцев, их стремление установить гражданскую «добродетель», свободу и равенство любыми ме-

рами, в том числе — насильственным путем, отвлекаясь от мира реальных людей со всем разнообразием их индивидуальных чувств, страстей и интересов. Наследник заветов гуманистической мысли эпохи Возрождения, как и освободительной мысли просветителей XVIII в., Пушкин с первых лет жизни и творчества был склонен рассматривать человека как высшую нравственную ценность. Поэтому отрицавшие ценность отдельной личности во имя интересов общества уравнивательные идеи якобинцев не могли ему импонировать. Поэт видел в них отрицание живого разнообразия жизни, отрицание ее вечной прелести и красоты, неотъемлемого права человека на полноту существования, свободу и счастье. Тем более не могла вызвать у Пушкина положительного отношения политическая доктрина, возводившая террор в исторически необходимую основу для возведения будущего общественного здания. Признавая революцию в определенных условиях (хотя и не во всяких, а именно там, где не был возможен иной, мирный путь развития) — необходимой и прогрессивной исторической силой, Пушкин и в юношеские, и в зрелые годы проводил между революцией и террором глубокое различие, принимая революцию как путь к освобождению человечества и осуждая террор как кровавое и бесчеловечное средство политического подавления общества, соединенное с жестоким насилием, нарушением естественных законов и норм человеческого существования.

Уже в годы детства поэта о событиях революционной эпохи не могли не вестись разговоры в доме Пушкиных, — тем более что 1800-е годы были годами империи Наполеона во Франции, годами сложных отношений между Францией и Россией. В этих условиях в обществе снова и снова возникали разговоры о тех исторических событиях, которые предшествовали захвату власти Наполеоном.

При этом вряд ли можно сомневаться в том, что большинство людей старшего поколения, с которыми Пушкину приходилось встречаться в доме родителей, с осуждением относилось не только к Наполеону, но и к французской революции. Возвышение Наполеона представлялось им историческим последствием революции и казни Людовика XVI, вызывавших их осуждение. Подобный взгляд был, как справедливо указывает Б. В. Томашевский, широко распространен в тогдашней исторической литературе и публицистике, — не только консервативного, но и либерального направления.<sup>8</sup>

Б. В. Томашевский полагал, что Карамзин, побывавший во Франции в годы революции и приветствовавший ее в 1790 г. как начало новой эпохи в развитии человечества, мог делиться с Пушкиным своими впечатлениями о ней.<sup>9</sup> Насколько соответствует действительности это предположение, мы не знаем, как не знаем и того, был ли Пушкин осведомлен о политической эволюции Карамзина и его увлечении идеями революции в 1789—1791 гг. Пушкин был на много лет моложе Карамзина, и те сведения, которыми мы располагаем об их личных отношениях, не дают основания для предположения, что Карамзин беседовал с Пушкиным о впечатлениях и переживаниях своей молодости. Вряд ли, вопреки предположению Томашевского, мог серьезно повлиять на формирование взглядов Пушкина на революцию и лицейский профессор французского языка и словесности Будри, хотя он и был братом Марата. Сохранившееся свидетельство Пушкина о Будри исполнено нескрываемой иронии. Поэт замечает, что эмигрант «Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный». «Екатерина II переменила ему фамилию, по просьбе его, придав ему аристократическую частицу *de*, которую Будри тщательно сохранял» (XII, 166).

Эта ироническая характеристика Будри свидетельствует о том, что последний не сумел внушить своему воспитаннику особого почтения ни к себе, ни к своему брату, хотя сам Будри, по-видимому, был привязан к его памяти; так, Будри «сказывал, что брат его был необыкновенно силен, не смотря на свою худощавость и малый рост» и при этом отличался добродушием и любовью к родственникам, — в частности, он стремился отвратить Будри в молодости от развратных женщин, для чего «повел его в гофшпиталь, где показал ему все ужасы венерической болезни» (там же).

Характерно, что Будри враждебно относился к Робеспьеру, которого обвинял в смерти брата. По его рассказу на одном из занятий в лицее, именно Робеспьер подослал к Марату Шарлотту Корде, воспитав из нее «второго Равальяка» (там же). Это воспоминание, сохраненное Пушкиным, показывает, что Будри, не слишком глубоко разбиравшийся в людях и событиях революции, был, как можно полагать, склонен сводить причины гибели Марата к личному соперничеству между ним и Не-



подкупным. Такая интерпретация событий эпохи, как и аристократические замашки Будри, соединявшего «демократические мысли» с ловкостью придворного, вряд ли могли особенно импонировать его ученикам, — особенно тем из них, кто был одарен, подобно юному Пушкину, умом и проницательностью.

Особый интерес представляют дошедшие до нас в учебной тетради А. М. Горчакова записи к лицейским лекциям И. К. Кайданова по курсу «Статистика» (1815), посвященные Великой французской революции.

«До времен фр<анцузской> революции феодальные права — читаем мы здесь — существовали во всей Франции, а потому дворянство во Франции было богато и чрезвычайно сильно, народ же во многих провинциях находился в великом угнетении. Революция потрясла сильно всю Францию и в короткое время ниспровергла все древние узаконения, а потому и феодальное правление совершенно истребилось во всей Франции и многие дворяне из богатейших сделались беднейшими и из сильных ничего не значащими. По разуму узаконений, изданных французами во время революции, все жители во Франции должны быть во всех своих правах и взаимных отношениях равны между собою, и каждый из них должен был называться гражданином (citoyen) — посему дворянство, особливо же наследственное, было уничтожено, равно, как и рабство».<sup>10</sup>

«Революция, — замечает далее Кайданов, — взвела Лю<довика> XVI на эшафот и с смертью его пресеклось во Франции монарх<ическое> правление. Комитет или собрание, состоявшее из безумнейших политических фанатиков, некоторое время управляло Францией. Наконец составила Директория; потом триумvirатство, состоявшее из Лебрюна, Камбасерса и Бонапарта, — последний хитростью умел отделить от дел двух первых, и, подобно хитрому Октавию, умел превратить Фр<анцузскую> республику в монархию, а титул консула, коим франц<узский> народ почтил его наконец на всю жизнь, переименовал сей на титул императора (18 мая н. с. 1804 г.). В сем случае усматривается великое сходство между Римскою республикою, превращенною в монархию, и Французскою республикою, покорившеюся власти одного человека <...> Подобно Октавию, хитрый Бонапарт оставил во Франции народные формы республики, присвоил себе неограниченную власть над войском и, следовательно, над всеми гражданами». «Наполеон, желая восстановить во Франции дворянство, ввел так назы-

ваемое почетное дворянство (*légion d'honneur*), и к классу сих дворян причислились все оказавшие какие-нибудь отличные заслуги отечеству <...> По разуму законов конституционного собрания, существовавшего во время революции, мещанство в правах своих равнялось дворянству, и каждый мещанин, подобно дворянину, назывался во Франции гражданином (*citoyen*). Со времени владычества Наполеона и особенно теперь (в эпоху Реставрации. — Г. Ф.) дворянство несравненно важнее мещан». <sup>11</sup>

Подводя итоги истории революции, Кайданов стремился показать, что главным положительным завоеванием революции было завоевание французским крестьянством собственности на землю: «Ужасы и кровопролития, произведенные во Франции революцией, были в некотором отношении полезны только для крестьян и вообще для низкого состояния людей <...> Расторгнув узы феодального правления, крестьяне предались влечению пагубнейших страстей, особливо мщения противу дворян, грабили и опустошали земли и владения дворян, и самые законы оправдывали тогда неистовые поступки их». Наполеон, «укротив ярость революции, определил законами состояние крестьян. Они объявлены были во всей Франции свободными от всех прежних своих помещиков и теперь находятся они в зависимости от своих помещиков только потому, если они живут на землях их». <sup>12</sup>

Приведенные отрывки из лекций Кайданова могли дать Пушкину первое более или менее развернутое представление о революции.

## 2

После этих необходимых предварительных замечаний постараемся проследить, как складывалось отношение Пушкина к французской революции на первом, наиболее раннем этапе его развития.

Год рождения Пушкина был годом установления во Франции консулата. Когда поэту было пять лет, Наполеон I совершил государственный переворот и провозгласил себя императором. Детство Пушкина падает на годы наполеоновской империи во Франции, годы Аустерлица, Иены и Тильзитского мира. В

следующие, лицейские, годы поэт вместе с другими лицеистами с тревогой и высоким патриотическим воодушевлением переживает Отечественную войну 1812 г., с волнением следит заграничными походами русской армии 1813—1815 гг.

В этих условиях было естественным и закономерным, что события Великой французской революции XVIII в. не могли в ранние годы жизни Пушкина переживаться им столь же непосредственно и напряженно, как они переживались его предшественниками и старшими современниками, в том числе и Радищевым и Карамзиным. Последние были непосредственными свидетелями революционных событий, которые разворачивались на их глазах. Наблюдая события первой французской революции в их движении и нарастании, Радищев и Карамзин — каждый по-своему — глубоко поняли драматизм этих событий, их историческую сложность и неоднозначность. Французская революция поставила перед ними множество вопросов, на которые ответить для людей XVIII в., воспитанных на идеях просветительской мысли, было далеко не просто. Глубокое и острое ощущение драматизма исторических бурь «оснадцатого столетия», трагического сочетания в них добра и зла, разума и неразумия, свободы и несвободы, справедливости и несправедливости явилось — при всем различии общественно-политического мировоззрения Радищева и Карамзина — выводом, общим для них обоих. Подводя итоги века Просвещения, оба они отчетливо ощутили, что этот век не смог до конца разрешить тех вопросов, которые он поставил перед лучшими умами человечества и его беспокойной совестью.

В отличие от Радищева и Карамзина для Пушкина и его поколения события первой французской революции были не современностью, а историей. И именно от современности Пушкин шел к пониманию революции как подготовившего ее этапа исторической жизни человечества. Вот почему, по верному замечанию Б. В. Томашевского, «первые отклики на Французскую революцию у Пушкина были тесно связаны с именем Наполеона».<sup>13</sup> От оценок русским обществом и самим поэтом наполеоновского периода и личности Наполеона он постепенно двигался к постижению хода революционных событий конца XVIII в., «разгадку смысла» которых молодой Пушкин и его современники в 1810-х годах прежде всего «искали в Наполеоне».<sup>14</sup>

Победу русских войск и войск союзников над Наполеоном Пушкин в 1814—1815 гг. воспринимает поэтому как событие, знаменующее окончание одной и начало другой, новой по своему историческому содержанию эпохи. При этом и трагические, кровавые события французской революции, и завоевательные войны Наполеона до поры до времени сливаются в глазах юноши-поэта в единую цепь событий.

Мысль о том, что победа над Наполеоном — всемирно-исторический рубеж, который призван стать концом одной и началом другой эры для России и для всей Европы, проходит красной нитью через ряд произведений Пушкина 1814—1816 гг. Она получила отражение в таких стихотворениях, как «Воспоминание в Царском селе» (1814), «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.» («Александр», 1815) и «Принцу Оранскому» (1816).

В Париже Росс! — где факел мщенья?  
Поникни, Галлия, главой.  
Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья  
Грядет с оливою златой.  
Еще военный гром грохочет в отдалении,  
Москва в унынии, как степь в полночной мгле,  
А он — несет врагу не гибель, но спасенье  
И благотворный мир земле,

— пишет Пушкин в первом из названных стихотворений (I, 82).

Призыв к русскому царю положить конец эпохе братоубийственных войн и способствовать установлению в России и Западной Европе периода мира и процветания содержится и в стихотворении «На возвращение государя императора»

Ты наш, о русский царь! оставь же шлем стальной  
И грозный меч войны, и щит — ограду нашу;  
Излей пред Янусом священну мира чашу,  
И брани сокрушив могущею рукой,  
Вселенну осени желанной тишиной!..  
И придут времена спокойствия златые,  
Покроет шлемы ржа, и стрелы каленые,  
В колчанах скрытые, забудут свой полет...

(I, 147)

Наконец, тот же устойчивый для творчества Пушкина 1814—1817 гг. мотив мы встречаем в посмертно опубликованном стихотворном послании «Принцу Оранскому»:

Довольно битвы мчался гром,  
Тупился меч окровавленный,  
И смерть погибельным крылом  
Шумела грозно над вселенной!

Свершилось... взорами царей  
Европы твердый мир основан;  
Оковы свергнувший злодей  
Могущей бранью снова скован.

(I, 182)

М. П. Алексеев в 1958 г. обратил внимание на то, что противопоставление только что закончившейся с падением Наполеона эпохи братоубийственной войны ожидаемому миру, спокойствию и «тишине» как «международному идеалу» могло быть подсказано Пушкину идеями первого, горячо любимого лицеистами директора Лицея, выдающегося русского просветителя начала XIX в., убежденного противника завоевательных войн и горячего поборника мира В. Ф. Малиновского, автора трактата «Рассуждение о войне и мире» (1801) и статьи «Общий мир», напечатанной в 1813 г. в № 11 журнала «Сын отечества». <sup>15</sup> «И ныне надлежит ей (России.— Г. Ф.) увенчать сей великий подвиг и обеспечить освобожденные народы общим их союзом в этой войне», — писал Малиновский в названной статье, «несомненно читанной всеми лицеистами». <sup>16</sup> В самый разгар освободительной войны против Наполеона, незадолго до смерти, Малиновский, — как верно заметил М. П. Алексеев, — «все еще носился с мыслью, что Россия призвана до конца выполнить свое великое предназначение и, «освободив Европу от общего утеснения», должна будет добиваться умиротворения и ликвидации дальнейших военных конфликтов. <sup>17</sup> Эта мысль Малиновского, по-видимому, была воспринята Пушкиным-лицеистом и легла в основу его устремлений, выраженных в цитированных стихотворениях.

- Утихла брань племен; в пределах отдаленных  
Не слышен битвы шум и голос труб военных;  
С небесной высоты при звуках стройных лир  
На землю мрачную нисходит светлый мир

— мечтал поэт (I, 145).

Вот почему не случайно, на что обратил внимание Б. В. Томашевский, сравнивая стихотворение Пушкина «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.» (хотя оно и было написано по заказу директора департамента народного просвещения И. И. Мартынова в связи с предполагавшейся торжественной встречей императора и носило поэтому полуофициальный характер) с посланием В. А. Жуковского «Императору Александру» (1814), в пушкинском стихотворении отсутствует «декламация против французской революции и восторг по поводу возвращения Бурбонов на французский престол». Искренно выражая свою ненависть к Наполеону, Пушкин-лицеист столь же «искренно» провозглашал свою мечту о свободе поработанных Наполеоном народов от «бремени оков» и об их мирном будущем.<sup>18</sup> Именно в этом состояло самое пламенное его желание в 1814—1816 гг.

В традиционные формулы похвалы царю и Пушкин, и Жуковский вкладывали свои гуманистические чаянья. Изображение русских войск, входящих в Париж с «оливой златой», несущих мир освобожденным народам после двух десятилетий гибельных браней, соответствовало надеждам и желаниям Пушкина, его идеалу гуманности. От «Воспоминаний в Царском селе» можно, думается, поэту провести нить и к позднейшим рассуждениям Пушкина о «вечном мире» (1821), и к его вызванному польским восстанием 1830 г. размышлениям, выраженным в «Бородинской годовщине» (1831):

В боренье падший невредим;  
Врагов мы в прахе не топтали;  
Мы не напомним ныне им  
Того, что старые скрижали  
Хранят в преданиях немых;  
Мы не сожжем Варшавы их;  
Они народной Немезиды  
Не узрят гневного лица  
И не услышат песнь обиды  
От лиры русского певца

(III, 274)

Однако если в стихотворениях «На возвращение государя императора» и «Воспоминание в Царском селе» выражена светлая мечта о «благодетельном мире», призванном сменить в новой Европе эпоху тирании и завоевательных войн (воплощением

которых для русского поэта была фигура Наполеона (ср. стихотворение «Наполеон на Эльбе», 1815), то уже через два года в оде «Вольность» (1817) мы встречаем совершенно иную картину посленаполеоновской эпохи:

Увы! Куда не брошу взор —  
Везде бичи, везде железы,  
Законов гибельный позор,  
Неволи немощные слезы;  
Везде неправедная Власть  
В сгущенной мгле предрассуждений  
Воссела — Рабства грозный Гений  
И Славы роковая страсть.

(II, 45–46)

Времена переменились, а с ними переменились и настроения поэта. Эпоха «благотворного мира» оказалась на деле эпохой «Священного Союза», временем новой неволи и рабства. Этим вызвано обращение поэта с грозным предупреждением к властителям России и всей Европы:

Владыки! Вам венец и трон  
Дает Закон — а не природа:  
Стоите выше вы народа,  
Но вечный выше вас Закон.

(II, 45)

Поэт возрождает здесь идею Вольности, провозглашенную американскими и французскими просветителями и революционерами XVIII в., а в России — Радищевым. Равенство граждан перед лицом «мощных» государственных «законов», «крепко» сочетающихся воедино со «святой вольностью», — таков в 1817 г. его общественно-политический идеал.

Ода «Вольность» — хронологически самое раннее стихотворение Пушкина, в котором поэт обращается к эпохе первой французской революции, называемой им эпохой «славных бед» (II, 45), т. е. временем одновременно великим и трагическим по своему историческому содержанию.

Непосредственно событиям Великой французской революции посвящена первая из двух исторических картин, которые поэт рисует в «Вольности». Обращаясь к тени Людовика XVI, поэт в его смерти усматривает нарушение «закона», совершенное не царем, а народом:





Ибо в «Вольности» важны не только грозные и гневные инвективы против тиранов — Наполеона, Павла I и любых других «самовластительных злодеев», неизбежно осужденных на смерть самой историей и ее незыблемыми законами (ср. стих о Павле I: «И слышит Клии страшный глас»), и не только призыв к «падшим рабам» воспринять и обрести новое мужество в сопротивлении тирании, но и впервые проявившееся здесь искусство Пушкина смотреть на историю «глазами Шекспира», его строгая верность объективному движению и логике событий, умение взглянуть на них свободно и независимо, с высоты своего возвышенного исторического и нравственного идеала гуманности и справедливости.

Поэт не скрывает своей глубокой ненависти к русскому Калигуле — Павлу I, имя и самое жилище которого осуждены на забвение. И вместе с тем Пушкин с глубоким отвращением рисует образы «потаенных убийц», которые, опьяненные для храбрости вином, скрывая затаенный в их сердцах страх перед тем, что они намерены совершить, крадутся в комнату спящего императора, хотя объективно их действия и являются заслуженным Павлом историческим возмездием тирану.

Точно так же, обращаясь к событиям политической истории французской революции (и всецело концентрируясь в «Вольности» именно на этой внешней, политической ее стороне), Пушкин характеризует Людовика XVI как *жертву истории*. Людовик поник «развенчанной главой, он не «тиран», но «мученик», влекомый носителями политического беззакония на запятнанную кровью его и других жертв «плаху вероломства». И все же его смерть — неизбежная плата — хотя и не за его личную вину, а за «ошибки славные» его властолюбивых и жестоких предков. В то же время казнь его не случайно совершается при молчании не только «закона», но и «народа». Ибо одно незаконное преступление влечет за собой другое — на смену казненному Людовику на трон всходит новый, более страшный властитель — Наполеон, готовящийся сковать поработанных галлов, накрыв их своей порфирой.

Единственная гарантия избежать и деспотизма и своеволия тиранов, и анархию действующего стихийно, слепого в своей ярости и гневном народе — сочетание «святой вольности» каждого члена общества с «крепкими» и нерушимыми гражданскими законами, основанными на требованиях Равенства, Правды и Справедливости.

В идеи, почерпнутые из лекций Куницына и из сочинений французских просветителей, Пушкин вносит глубоко личный смысл: вольность, в его понимании, связана со свободой всех членов общества и их правом на счастье. Но это право может обеспечить только закон. И притом закон не только политический (или юридический), но прежде всего закон нравственный, закон гуманности, от которого производным является и закон политический.<sup>22</sup> Без опоры на нравственный закон вольность превращается в своеволие, а царь — в самовластного злодея и тирана. Лишь тесная, органическая связь между политическим и нравственным законом, между личной свободой и «вольностью» граждан, между правами и обязанностями каждого члена гражданского общества на всех его ступенях — «наверху» и «внизу» — от «царя» до «народа» — может обеспечить нормальный, достойный человека общественный порядок.<sup>23</sup>

Итак, и казнь «мученика ошибок славных» Людовика XVI, и смерть «тирана» Павла I в глазах Пушкина эпохи «Вольности» предстают в известном отношении как две, хотя и различные, но и в известном отношении сближенные по их глубинному смыслу исторические трагедии. Пушкин осуждает Павла I и усматривает в его убийстве законное историческое возмездие «самовластительному тирану». И вместе в тем он с ужасом и отвращением рисует фигуры его убийц, ибо самый факт убийства, хотя бы и убийства тирана, вызывает у него осуждение — прежде всего с нравственной точки зрения. С этой же нравственной точки зрения Пушкин готов сочувствовать Людовику XVI, сложившему голову за «славные» ошибки предков при трагическом «молчании» как «закона», так и «народа».<sup>24</sup>

Новую, более определенную, исторически развернутую и смелую трактовку Великая французская революция, как верно отметил Б.В. Томашевский,<sup>25</sup> получила через четыре года в стихотворении Пушкина «Наполеон» (1821). Революция оценивается здесь как всемирно- историческое событие — пробуждение «мира» от «рабства». И хотя в качестве центрального события революции, ее апогея, и здесь так же, как в «Вольности», рассматривается казнь Людовика XVI, она дана в принципиально ином историческом освещении — как момент высшего торжества свободы, момент наступления ее «великого», «неизбежного» и самого яркого дня. Наполеон же характеризуется поэтом как убийца завоеванной французским народом в период революции свободы.

Когда надеждой озаренный  
От рабства пробудился мир,  
И галл десницей разъяренной  
Низвергнул ветхий свой кумир,  
Когда на площади мятежной  
Во прахе царской труп лежал,  
И день великий, неизбежный  
Свободы яркий день вставал —

И обновленного народа  
Ты буйность юную смирил,  
Новорожденная свобода,  
Вдруг онемев, лишилась сил;  
Среди рабов до упоенья  
Ты жажду власти утолил,  
Помчал к боям их ополченья,  
Их цепи лаврами обвил.

Тогда в волненьи бурь народных  
Предвидя чудный свой удел,  
В его надеждах благородных  
Ты человечество презрел.  
В свое погибельное счастье  
Ты дерзкой веровал душой,  
Тебя пленяло самовластье  
Разочарованной красой.

И Франция, добыча славы,  
Пленный устремила взор,  
Забыв надежды величавы,  
На свой блистательный позор.  
Ты вел мечи на пир обильный;  
Все пало с шумом пред тобой:  
Европа гибла — сон могильный  
Носился над ее главой.

(II, 214)

Наиболее отчетливым выражением вольнолюбивых настроений поэта начала 20-х годов является, без сомнения, стихотворение «Кинжал» (1821):

Лемносский бог тебя сковал  
Для рук бессмертной Немезиды,  
Свободы тайный страж, карающий кинжал,  
Последний судия Позора и Обиды.

Где Зевса гром молчит, *где дремлет меч Закона*  
(курсив мой. — Г. Ф.),  
Свершитель ты проклятий и надежд,  
Ты кроешься под сенью трона,  
Под блеском праздничных одежд.

.....

Исчадь мятежей поъемлет злобный крик:  
Презренный, мрачный и кровавый,  
Над трупом Вольности безглавой  
Палач уродливый возник.  
Апостол гибели, усталому Аиду  
Перстом он жертвы назначал,  
Но вышний суд ему послал  
Тебя и деву Эвмениду.

(II, 173—174)

В «Вольности» гарантией свободы для поэта служит Закон, «меч» которого «без выбора» скользит над «равными главами» всех граждан, в том числе и монарха, и народа. Теперь Пушкин вносит в эту свою политическую концепцию поправку. «Закон» политический и нравственный — основа свободы. Но когда Закон «дремлет», а обезглавленная «Вольность» обращена в «труп», долг сильного и мужественного человека — обнажить меч и обратить его против убийцы «Вольности». В такую минуту уже не Закон, но Кинжал призван стать «последним судьей Позора и Обиды». Об этом свидетельствует не только пример древних тираноубийц Гармония и Аристокитона,<sup>26</sup> но и «вольнo-любивого» Брута, обнажившего кинжал против Цезаря, равно как и Шарлотты Корде, «девы Эвмениды», осуществившей в разгар революции «высший суд» над «апостолом гибели» Маратом, и немецкого студента Карла Занда, убившего в 1819 г. агента правительства Александра I и Священного союза — популярного в свое время также и в России реакционного писателя и драматурга Августа Коцебу — и казненного за это немецкими властями (вскоре Пушкин присоединит к их числу и еще одного тираноубийцу — Лувеля, убившего в 1820 г. герцога Беррийского).

«Палач уродливый» Марат приравнен здесь к другим тиранам и убийцам «вольности» древнего и нового времени, а увлеченный якобинцами народ охарактеризован как «исчадь мятежей». Но это не должно нас удивлять, поскольку, как мы уже знаем из оды «Вольность», Пушкин относился враждебно к якобинскому террору и считал, что не только властители, но и народ должны свято соблюдать высшее начало — Закон. Поэтому «злбный крик» опьяненной кровью толпы, призывающей к повторению в новом обличье тех же самых жестокостей, к которым приучил ее режим абсолютизма, не внушал поэту (при всем его глубоком уважении к «мнению народному») ни малейшего сочувствия. И точно так же нас не должно удивлять то, что в «Кинжале» (как позднее в «Рославлеве») поэт прославляет в качестве примера действенного патриотизма, следуя примеру своего любимого французского поэта Андре Шенье, Шарлотту Корде. Ибо в «Кинжале» и в «Рославлеве» Шарлоттой Корде восславлена (в первом случае наряду с Брутом и Карлом Зандом, а во втором наряду с древней Юдифью) как убийца тирана, несущая ему справедливое историческое возмездие за кровожадность и несправедливость.

Шарлотта Корде в понимании Пушкина не контрреволюционерка, а защитница высоких идеалов свободы, рожденных Великой французской революцией. Историческую же вину Марата и других якобинцев поэт видит в нарушении этих идеалов, в разращении уличной толпы, замене деспотизма Людовика XVI и его предшественников идеей всеобщей уравнительности, неизбежным следствием которой являются произвол и господство гильотины.

Таким образом, глубоко революционный в понимании и поэта и его современников (и в рамках более широкого исторического времени) смысл пушкинского стихотворения несомненен. Это был прямой вызов деспотизму, в том числе деспотизму русского самодержавия (хотя в письме Пушкин и утверждал в 1825 г., что «*Кинжал* не против правительства писан...» — XIII, 167), и призыв к активному действию в борьбе с тиранией — при отсутствии других действенных средств политической борьбы за свободу.

Важно отметить также своеобразный поэтический «максимализм» настроений Пушкина в период написания «*Кинжала*»: Поэта увлекает фигура героической личности, всецело преданной гражданскому долгу, готовой пожертвовать жизнью ради его выполнения, ибо она считает выполнение своего дела нравственным и святым. И вместе с тем — идеал Пушкина не герой холодного, аскетического склада, но человек, полный жизни и огня, для которого полнота личного развития составляет такое же неотъемлемое качество, как общественный и нравственный долг. В этом смысле идеал этот, выраженный в стихотворении «*Кинжал*», сродни тому идеалу героической личности, органически слитой воедино с «национальной субстанцией», с законом и правом общества как целого, который Гегель в своих «Лекциях об эстетике» считал достоянием античного «века героев» (в противоположность «прозаическому» миру «современной», т. е. буржуазной, цивилизации).

«*Кинжал*» написан на Юге, в пору надежд, возбужденных в среде мыслящей части русского общества греческим освободительным движением, восстанием в Неаполе, революциями в Испании и Португалии.<sup>27</sup> Поэт горячо мечтает в это время о вечном мире, связывая возможность его наступления с национально-освободительными движениями угнетенных Священным

союзом народов (XII, 189, 190, 480).<sup>28</sup> Но уже вскоре он переживает глубокий духовный кризис, вызванный спадом освободительной волны. Первые признаки надвигающегося кризиса отражены уже в послании Пушкина того же 1821 г. «В. Л. Давыдову», а своего апогея кризис этот достигает в 1823—1824 гг., когда созданы были такие стихи, как «Кто, волны, вас остановил...» (1823), «Демон» (1833), «Свободы сеятель пустынный», «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» (1824), «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» (1824) и т. д.

Тем не менее события и имена деятелей Французской революции продолжают и в эти годы занимать внимание Пушкина. В «Послании цензору» (1822), направленном против «самовластной руки трусливого дурака» А. С. Бирукова, Пушкин пишет:

Ты черным белое по прихоти зовешь,  
Сатиру пасквилом, поэзию развратом,  
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.

(II, 268)

В незаконченном стихотворении «Недвижный страж дремал...» обстановка в Европе после Веронского конгресса 1823 г. охарактеризована как период, когда все «главы» после победы реакции склонились «под ярем» и «жребии земли», определенные волей «Владыки Севера» (Александра I), «миру тихую неволю в дар несли...», а Наполеон предстает как «Мятежной Вольности наследник и убийца» (II, 311).

Итог своим мрачным размышлениям, вызванным наступившей после 1823 г. новой эпохой победы европейской реакции, Пушкин подвел в другом стихотворении 1824 г., обращенном к Наполеону:

Зачем ты послан был и кто тебя послал?  
Чего, добра иль зла, ты верный был свершитель?  
Зачем потух, зачем блистал,  
Земли чудесный посетитель?

Вещали книжники, тревожились цари,  
Толпа пред ними волновалась,  
Разоблаченные пустели алтари,  
[Свободы буря] подымалась.

И вдруг нагрянула... Упали в прах и в кровь,  
Разбились ветхие скрижалы,  
Явился муж судеб, рабы затихли вновь,  
Мечи да цепи зазвучали.

И горд и наг пришел Разврат,  
И перед (?) ним (?) сердца застыли,  
За власть (?) Отечество забыли,  
За злато предал брата брат.  
Рекли безумцы: нет Свободы,  
И им поверили народы  
И безразлично, в их речах,  
Добро и зло, все стало тенью —  
Все было предано презренью,  
Как ветру предан дольный прах.

(II, 314, 824 — 826)

Так же, как ода «Наполеон», стихотворения «Недвижный страж дремал...» и «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» свидетельствуют о известной переоценке Наполеона: теперь он в глазах поэта не только «злодей», но и «муж судьбы», завещавший России «вечную свободу» «из мрака ссылки». Тем не менее Наполеон остается в глазах поэта тираном. «...Тацит, [бич] тиранов, — замечает он в 1825 г. — не нравился Наполеону; удивительно чистосердечие Наполеона, в том признававшегося, не думая о добрых людях, готовых видеть тут ненависть тирана к своему мертвому карателю» (XII, 194).

В апреле 1824 г. под Миссолунги погибает Байрон. Друзья требуют от Пушкина стихотворения, посвященного памяти великого английского поэта. 24—25 июня 1824 г. Пушкин отвечает П. А. Вяземскому из Одессы: «...тебе грустно по Байроне, а я рад его смерти как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостию. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уж не тот пламенный демон, который создал Гяура и Чильд Гарольда. Первые 2 песни Дон Жуана выше следующих. Его поэзия видимо изменялась. Он весь создан был на выворот; постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и замолчал; и первые звуки его уже ему не возвратились — после 4-ой песни Child Harold Байрона мы не слышали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Твоя мысль воспеть его смерть в 5-ой песни его Героя прелестна — но мне не по силам — Греция мне огадила <...> Приехал бы ты к нам в Одессу

посмотреть на соотечественников Мильтиада и ты бы со мной согласился <...> Обещаю тебе однако ж вирши на смерть его превосходительства» (XIII, 99).

Свое обещание написать «вирши» на смерть Байрона Пушкин выполнил по приезду в Михайловское. Это — знаменитое стихотворение «К морю» (1824), где с образом «гордой» и непокорной морской стихии соотнесены образы двух гордых и неукротимых «властителей наших дум» — Наполеона и «оплаканного свободой» Байрона:

Твой образ был на нем означен,  
Он создан духом был твоим:  
Как ты, могущ, глубок и мрачен,  
Как ты ничем неукротим,

— говорится здесь об английском поэте (II, 332).<sup>29–31</sup>

В то же время вместо 5-й песни «Чайльд Гарольда», которую советовал ему посвятить памяти Байрона Вяземский, Пушкин пишет в 1826 г. историческую элегию «Андрей Шенье», первые строки которой непосредственно связаны по содержанию с цитированным письмом к Вяземскому.

Поэзию А. Шенье можно с известным основанием сблизить с поэзией Ф. Гельдерлина в Германии, Д. Китса в Англии и К. Н. Батюшкова в России (хотя Батюшков с поэзией Шенье еще не был знаком; он в своем восприятии античности испытал влияние не Шенье, а лишь его старшего современника Э. Парни (1753—1814), любовно-эротическими стихотворениями которого Пушкин увлекался в лицейские годы).

Судьба А. Шенье была трагической. Он родился в Галате, в Константинополе, был сыном гречанки и навсегда сохранил в своей поэзии любовь к светлой и солнечной природе Средиземноморья. Страстный поклонник античности, он увлекался — в отличие от поэтов времен классицизма XVII — начала XVIII века и своих французских современников, поэтов и драматургов революционной эпохи — не поэзией древнего Рима с ее холодным и рассудочным аллегоризмом, культом отвлеченных стоических гражданских добродетелей, а художественным миром древнегреческой мифологии. Высокая человечность, внутренняя просветленность, глубокая, незамутненная чистота чувств сочетаются в его стихотворениях и поэмах с необычайной свежестью, искренностью, любовью к красоте телесной, земной жизни, умением чутко ощущать и передавать ее краски, звуки и запахи



земли, с изяществом и гармонией выражения. Воодушевленный идеалами первой французской революции, Шенье отшатнулся от якобинцев в эпоху террора и погиб на гильотине за два дня до падения Робеспьера. Пушкин воспринимал его образ в ряду тех художников «моцартовского» (или «рафаэловского») типа, которые явились человечеству в качестве пророческого предостережения возможной для него будущей чистоты и гармонии — художников, которые, трагически погибнув на заре жизни в качестве жертвы своего «жестокого века», сумели до конца сохранить в душе верность идеалу, принеся себя в жертву суровому настоящему, чтобы способствовать своим примером торжеству грядущего царства человечности.<sup>32</sup>

Еще до выхода в 1819 г. посмертного сборника стихов Андре Шенье (1762 — 1794) он стал одним из любимых поэтов Пушкина.<sup>33</sup> Об этом свидетельствует его апелляция в оде «Вольность» к тени «возвышенного галла» (как мы полагаем, А. Шенье, а не Э. Лебрена), восславившего свободу среди «славных бед» революции.<sup>34</sup> 5 июля 1824 г. Пушкин писал Вяземскому, выражая свое отрицательное мнение о французской романтической поэзии (из которой он выделил сочувственно лишь Ламартина, который «хорош какой-то новой гармонией») и противопоставляя ей поэзию Шенье: «Никто более меня не любит прелестного André Chénier — но он из классиков классик — от него так и несет древней греческой поэзией» (II, 953, XIII, 102).<sup>35</sup> Спустя год, в 1825 г. поэт писал в заметке о Шенье (которой, возможно, в качестве примечания собирался сопроводить свое стихотворение о нем в печати):

«А<ndré> Ш<énier> погиб жертвою Фр<анцузской> револ<юции> на 31 году от рождения. Долго славу его составляло неск<олько> сл<ов>, сказан<ных> о н<ем> Шатобр<ианом>, два или три отрывка и общее сожаление об утрате всего прочего. — Наконец творения его были отысканы и вышли в свет 1819 года. — Нельзя воздержаться от горестного чувства» (XII, 35).

Тогда же — как своего рода отклик на стихотворение В. Ф. Раевского «Певец в темнице» (1822), на споры о «Думах» Рылеева и на приведенное письмо Вяземского — возникает историческая элегия «Андрей Шенье» (апрель — июль 1825), начальный отрывок из которой был напечатан в сборнике стихотворений Пушкина 1826 г. (остальные стихи, посвященные событиям революции, были запрещены цензурой).

Е. Г. Эткинд справедливо обратил внимание на то, что, обращаясь в начале своего стихотворения к имени Байрона, Пушкин в дальнейшем переходит от воспоминания об его смерти к смерти Шенье (так же, как в незадолго до этого написанном стихотворении «К морю» от Наполеона он переходит к Байрону).<sup>36</sup> Однако вне поля зрения исследователя осталось вышеприведенное письмо Пушкина к Вяземскому, да и в самую интерпретацию пушкинской исторической элегии Эткинд, думается, внес ряд спорных моментов.

Байрон погиб за свободу Греции. Однако, познакомившись в Одессе с современными ему греками, Пушкин глубоко в них разочаровался. Вместо потомков Фемистокла и Мильтиада Пушкин увидел в них «пакостный народ, состоящий из разбойников и лавошников», о чем он писал Вяземскому в цитированном письме, а несколькими днями позже в еще более резких выражениях В. Л. Давыдову (XIII, 99, 105, 529). Поэтому, хотя борьба за свободу Греции продолжала вызывать у Пушкина глубокое сочувствие, он в 1825 г. уже не мог разделять ошибки Байрона, который погиб в борьбе за освобождение Греции, не признавая различия между античной демократией и демократией современных «лавошников» — «воров и бродяг, которые не могли выдержать даже первого огня дурных турецких стрелков». (Там же. С. 104 — 105, 529).

Пример греков побудил Пушкина взглянуть на дело свободы в новом свете. Ибо, думая о греческих «лавошниках», он не мог не задуматься и о «лавошниках» французских, психология которых наложила свой отпечаток на события Великой французской революции XVIII в.

Вот почему свою историческую элегию Пушкин посвящает не Байрону, а Шенье, судьба которого — в контексте размышлений поэта о современных ему «лавошниках», выдающих себя за потомков античных борцов и героев, — приобретает в понимании Пушкина тревожный и пророческий смысл. Байрон героически погиб, воодушевленный идеалом свободы. Но на деле народ, за свободу которого он боролся, был народом «лавошников». Трагедия же Шенье (и других людей его поколения) была более страшной. Воодушевленные идеалами свободы и искренне преданные им, они погибли не от руки «внешних», но от руки «внутренних» турок — от кровавого насилия и деспотизма, порожденного самой же революцией, ее стихийным, неуправляемым развитием в эпоху, когда к господству рвались новые хозяева жизни — «разбойники» и «лавошники», пришедшие к своему господству в XIX в.

Таков глубинный исторический подтекст исторической элегии Пушкина. Вспомним, что ближайшим предшественником его в жанре исторической элегии «Андрей Шенье» в русской поэзии элегия Батюшкова «Умиравший Тасс» (1817), — и мы увидим, какое огромное расстояние отделяет Пушкина 1825 года от этого его ближайшего предшественника в представлении о взаимоотношениях поэта и окружающего мира.

У Батюшкова конфликт Тасса и его современников — отражение вневременного романтического представления о «вечном» антагонизме поэтов и «толпы». Его Тасс умирает, примиренный с церковью и простивший своего врага и гонителя, накануне готовящегося в его честь триумфа в Капитолии, так как предшествующие его бедствия, вызванные роковой отверженностью поэта-провидца, не может загладить никакое — слишком позднее — признание.<sup>37</sup> При этом его внутренний мир остается в стихотворении нераскрытым, на что указал Пушкин в своих критических замечаниях о батюшковском «Тассе» («Тасс дышал любовью и всеми страстями <...> Это умирающий Василий Львович» Пушкин. — XII, 283—284). Ибо для Батюшкова был важен не конкретный исторический Тассо (хотя внешние обстоятельства жизни поэта и изложены в его элегии с предельной точностью), — образ Тасса и его страданий в элегии Батюшкова — лишь символ вечного, рокового конфликта поэта (и вообще возвышенной личности) с миром, где властвуют прозаические законы вражды людей, чиновничества, утилитаристской обыденности и прозы.

У Пушкина мы видим другое. Его Шенье прежде всего органически свободная личность и не может быть другим. Он глубоко и искренне предан свободе в личной и в общественной жизни и не способен ни на какие компромиссы с властями предрежащими. Вот почему он горячо приветствовал Французскую революцию, обещавшую исполнение всех возвышенных идеалов французских просветителей, которые разделял в 1789 г. Шенье.

Приветствую тебя, мое светило!  
Я славил твой небесный лик,  
Когда он искрою возник,  
Когда ты в буре восходило.  
Я славил твой священный гром,  
Когда он разметал позорную твердыню  
И власти древнюю гордыню

Развеял пеплом и стыдом;  
 Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,  
 Я слышал братский их обет,  
 Великодушную присягу  
 И самовластия бестрепетный ответ.  
 Я зрел, как их могущи волны  
 Все ниспровергли, увлекли,  
 И пламенный трибун предрек, восторга полный,  
 Перерождение земли.  
 Уже сиял твой мудрый гений,  
 Уже в бессмертный Пантеон  
 Святых изгнанников входили славны тени,  
 От пелены предассуждений  
 Разоблачился ветхий трон;  
 Оковы падали. Закон,  
 На вольность опершись, провозгласил равенство,  
 И мы воскликнули: «*Блаженство!*»

(II, 398)

Ср. у Батюшкова:

От самой юности игралище людей,  
 Младенцем был уже изгнанник;  
 Под небом сладостным Италии моей  
 Скитаясь, как бедный странник,  
 Каких не испытал превратностей судеб?  
 Где мой челнок волнами не носился?  
 Где успокоился? Где мой насущный хлеб  
 Слезами скорби не крошился?<sup>38</sup>

В оде «Вольность» Французская революция рассматривалась нерасчлененно: от казни Людовика XVI поэт непосредственно переходил к Наполеону. В «Андрее Шенье» мы видим иное. Вместе со своим героем поэт горячо приветствует и славит первый период революции — падение Бастилии, «бестрепетный ответ» королю депутатов Учредительного собрания, их «клятву» в Зале для игры в мяч, пламенную речь Мирабо в защиту свободы, перенесение в Пантеон праха «славных изгнанников» Вольтера и Руссо, освобождение узников, брошенных в тюрьмы Людовиком XVI и его предшественниками, «торжественное провозглашение равенства», «уничтожение царей».<sup>39</sup> Этот первый период революции — период «падения оков» феодализма и абсолютной монархии поэт характеризует как эру, когда Закон, вступив в союз с Вольностью, «провозгласил равенство». Но

затем наступает неприемлемый для Шенье и для Пушкина, губительный, в их понимании, для свободы, причем — и это важно подчеркнуть — для свободы не только поэта, но и народа, период якобинского террора. Место свергнутого царя занимают «убийца с палачами» (Робеспьер и его окружение), а господство Закона и Вольности сменяется господством «топора», т. е. гильотины. Происходит то, чего опасался еще Радищев: так же, как «великий муж» и одновременно «злодей», по оценке Радищева, Кромвель, «ханьжа, и льстец, и святотать», во время английской революции XVII в. «власть в своей руке имея», сокрушил после казни Карла I «твердь свободы» и в результате в Англии из «вольности» родилось новое «рабство»,<sup>40</sup> — Робеспьер и его сообщники превратили, по Пушкину, революцию в кровавую резню и этим погубили высокое и чистое по своей природе дело свободы.

Однако превращение свободы, о которой мечтали просветители XVIII в. и А. Шенье, в ходе революции в «безумный сон» не заставляет ни Пушкина, ни его героя отказаться от приверженности идеалу свободы.

Но ты, священная свобода,  
Богиня чистая, — нет не виновна ты,  
В порывах буйной слепоты,  
В презренном бешенстве народа,  
Скрылась ты от нас; целебный твой сосуд  
Завешен пеленой кровавой:  
Но ты придешь опять со мщением и славой  
И вновь твои враги падут.  
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,  
Все ищет вновь упиться им;  
Как будто Вакхом разъяренный  
Он бредит жаждою томим;  
Так — он найдет тебя. Под сению равенства  
В объятиях твоих он сладко отдохнет;  
Так буря мрачная минет!

(II, 398–399)

При всей своей вере в будущее торжество свободы и равенства, путь к которым сумеет найти «вкусивший однажды» нектар свободы народ, Шенье у Пушкина минутами не может побороть одолевающих его сомнений:

Куда, куда завлек меня враждебный гений?  
Рожденный для любви, для мирных искушений,  
Зачем я покидал безвестной жизни тень,  
Свободу и друзей, и сладостную лень?

(II, 400)

Стихи эти применил позднее к судьбе самого Пушкина Лермонтов.

Но возникающие в душе осужденного на смерть поэта сомнения заглушает и побеждает законная гордость, вызванная тем, что он сумел, сохранив свое человеческое достоинство, остаться верным знамени свободы перед лицом окружающего его общественного малодушия и продолжал обличать в годы якобинского террора нового кровожадного тирана с той же гневной непримиримостью, с какой он обличал «ветхий трон» прежних властителей Франции, роковые «предрассуждения» и «оковы» старого порядка.

О, нет!

Умолкни, ропот малодушный!  
Гордись и радуйся поэт:  
Ты не поник главой послушной  
Перед позором наших лет;  
Ты презрел мощного злодея;  
Твой светоч, грозно пламенея,  
Жестоким блеском озарил  
Совет правителей бесславных;  
Твой бич настигнул их, казнил  
Сих палачей самодержавных;  
Твой стих свистал по их главам;  
Ты звал на них, ты славил Немезиду,  
Ты пел Маратовым жрецам  
Кинжал и деву — Эвмениду.<sup>41</sup>

Когда святой старик от плахи отрекал  
Венчанную главу рукой оцепенелой,<sup>42</sup>  
Ты смело им обоим руку дал,  
И перед вами трепетал  
Ареопаг остервенелый.

(II, 401)

Таким образом, Шенье умирает, но умирает (в отличие от батюшковского Тасса) непримиренный, со словами свободы на устах. Вместе с тем его предсмертное предсказание сбывается:

через день после его смерти наступает день падения и казни Робеспьера. А благодаря сохраненным его друзьями и изданным после его смерти стихам имя казненного поэта обретает бессмертие. Сумев сохранить гордую независимость до конца дней и посвятив свое поэтическое слово прославлению свободы, красоты и гуманности, полноты человеческой жизни во всех ее проявлениях — на арене исторической жизни и в «малом мире» любви, дружбы; поэтического досуга, среди «песен», «пиров» и «пламенных ночей», — Шенье остался в один из катастрофических моментов истории своей страны и всего человечества Поэтом и Человеком с большой буквы — и в этом состоит, по оценке великого русского поэта-гуманиста, великая историческая заслуга Шенье, возвышающая его личность над личностью великого английского поэта при всей присущей последнему мощи поэтического гения, «неукротимости» и непокорству судьбе.<sup>43</sup>

Элегию «Андрея Шенье» нельзя воспринимать изолированно от других величайших созданий Пушкина. В герое этой элегии, как признавал сам Пушкин, есть автобиографические черты (XIII, 187, 249).<sup>44</sup> Тем самым она органически входит в круг и гражданской, и «личной» интимно-психологической лирики Пушкина. И вместе с тем по своей проблематике она теснейшим образом связана с циклом стихотворений Пушкина о поэте и поэзии, с «Полтавой», «Медным всадником», поэмой о Тазите, с «Пророком»<sup>45</sup> и «Памятником», трагедией «Моцарт и Сальери», с «Борисом Годуновым» и «Капитанской дочкой», равно как и многими другими поэтическими и прозаическими произведениями поэта, его критическими и историческими опытами.

Шенье в понимании Пушкина — «певец любви, дубрав и мира» (II, 397). И вместе с тем он певец свободы и человечности, которым остается беззаветно верен до конца, отдавая свою лиру и свою жизнь высшей доброте, правде и справедливости. И именно это делает его жертвой неумолимого, жестокого и кровавого века.

«Монолог Шенье — справедливо замечает В. Б. Сандомирская — воссоздает чрезвычайно сложное движение мысли и чувства, богатое оттенками, включающее в себя резкие колебания, даже движение вспять, и переходы от тона к тону, от темы к теме. Он заключает в себя воспоминания героические и интимные, воспоминания о гражданских и политических переворотках, о политических спорах и распрях, участником которых

был Шенье, и полные глубокого чувства воспоминания о друзьях, о возлюбленных, о пирах и занятиях науками. <...> Построенная на контрасте двух эпох жизни поэта — первой, безвестной, свободной и счастливой, полной любви и радости, и второй, когда поэт окунулся в могучий водоворот революции и политических страстей», этот монолог включает в себя и глубокие ноты душевного смятения и тревоги, и «страстное бичующее слово поэта в открытой схватке с деспотизмом», и радостное предчувствие конечного торжества идеалов свободы и гуманности. «Назначение монолога-воспоминания состояло в том, чтобы выразить причастность поэта к важнейшим социальным и политическим акциям эпохи, соучастие в них своей поэзией». <sup>46</sup>

Революционная буря, уничтожившая «позорную твердыню» Бастилии, падение абсолютизма, торжество «закона» при господстве «вольности» и «равенства», перенесение праха Вольтера и Руссо в Пантеон — таковы в понимании поэта и его героя вечные, нетленные завоевания революции. И, однако, возведенное устами «пламенного трибуна» Мирабо «перерождение земли» оказалось в эпоху революции всего лишь мечтой. Место «священной свободы» заняла фурия уничтожения, а свергнутых царей сменили «убийцы с палачами». «Гражданская отвага» сынов революции отступила перед «буйной слепотой» и «бешенством» поработленного и ослепленного врагами свободы народа, ожидающего, подобно римскому плебсу, очередной казни как «привычного пира», дающего волю для разгула мстительных и кровожадных инстинктов обманутой «самодержавными палачами» толпы.

Пушкин подходит в своей исторической элегии к изображению основных событий и этапов французской революции не как историк-аналитик, но как поэт свободы и гуманности. Его задача — не исследовать на примере судьбы Андре Шенье внутренние закономерности революции, понять те исторические причины, которые сделали мечту просветителей XVIII в. о мирном преобразовании жизни человечества несбыточной, результатом чего явились якобинская диктатура и революционный террор 1793—1794 гг. Вместе с тем независимо от того, насколько верно или неверно оценивает Пушкин в «Андрее Шенье» личность Марата и Робеспьера и их историческую роль, главное в его элегии — грозное предупреждение против перерастания революционного движения в свою противоположность, против превращения завоеванной народом свободы в новую форму



тирании, враждебной и передовой, мыслящей личности, и самому народу, и интересам человеческой культуры. И не случайно сам Пушкин в письмах к Вяземскому от 13 июля 1825 г. и к П. А. Плетневу от 4—6 декабря 1825 г. намекал, что пророчество героя его стихотворения, предвещающее близкое падение тирана, относилось им самим в момент написания элегии не столько к Робеспьеру, сколько к Александру I (XIII, 187, 249). А выброшенные цензурой строки из «Андрея Шенье» получили, как известно, распространение в списках под названием «На 14 декабря» и вызвали политические обвинения царского правительства против самого поэта.<sup>47</sup>

### 3

После создания «Андрея Шенье» и до конца жизни Пушкина общее отношение его к французской революции остается устойчивым. Поэт высоко оценивает всемирно-историческое значение революции, признает ее историческую неизбежность и закономерность. И вместе с тем, высоко оценивая первый этап революции, наиболее блестящим воплощением которого в его глазах является Мирабо, Пушкин продолжает отрицательно относиться к якобинскому террору (хотя в оценке поэтом фигуры Робеспьера в 30-х годах намечаются следы известной исторической эволюции).

Мысль об исторической закономерности французской революции выражена Пушкиным (хотя и иносказательно, «между строк») в записке «О народном воспитании» (1826), написанной по возвращении поэта из ссылки для представления Николаю I, по его желанию: «Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, — читаем мы здесь, — вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий» (XI, 43; ср.: XI, 310—312). Первая половина этой фразы — явный намек на революцию XVIII в.

Та же мысль — о неизбежности крушения абсолютизма во Франции — выражена в первой главе «Арапа Петра Великого» (1827):

«По свидетельству всех исторических записок, — так характеризуется здесь время Регентства, — ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов

того времени. Последние годы царствования Людовика XVI, ознаменованные строгой набожностью двора, важностью и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастью, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайной для Парижа; пример был заразителен. На ту пору явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распалось под игривые припевы сатирических водевилей» (VIII, 3).

Как вчерашний (а не сегодняшний) день человечества эпоха Просвещения и Великая французская революция охарактеризованы в стихотворении «К Вельможе» (1830). Причем, если в элегии «Андрей Шенье» слова о смерти Байрона в ее зачине служили отправным моментом для перехода — по контрасту с нею — к трагической картине смерти Шенье, одновременно и певца, и жертвы свободы, превратившейся в ходе революции в свою противоположность, то теперь послереволюционная эпоха оценивается как эпоха нравственного упадка, сменившая великий и героический, хотя в то же время кровавый и жестокий, век «союза ума и фурий». Причем не может не привлечь к себе внимание и еще один новый штрих в оценке революции — ее «грозный закон» рассматривается поэтом в 1830 г. не как отпадение от той идеальной гражданской и нравственной нормы, в качестве которой термин «Закон» фигурировал в «Вольности» и других стихотворениях конца 1810-х — начала 1820-х годов, а как закон, «воздвигнутый» самою же «свободой»:

Все изменилося. Ты видел вихорь бури,  
Падение всего, союз ума и фурий,  
Свободой грозно воздвигнутый закон,  
Под гильотиную Версаль и Трианон  
И мрачным ужасом смененные забавы.  
Преобразился мир при громах новой славы.<...>  
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,  
Энциклопедии скептический причет,  
И колкой Бомарше, и твой безносый Касти,  
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти  
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя  
Все новое кипит, бывшее истребя.  
Свидетелями быв вчерашнего паденья  
Едва опомнились молодые поколенья.  
Жестоких опытов собирая поздний плод,

Они торопятся с расходом свесть приход.  
Им некогда шутить, обедать у Темиры,  
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,  
Звук лиры Байрона едва развлечь их мог.

(III, 219)

Любопытно, что почти одновременно с посланием «К вельможе» (в начале 1830 г.) написана статья («О записках Самсона») (на самом деле: Сансона (1740—1793); напечатана в № 5 «Литературной газеты» за 1830 г.), где мы встречаемся с описанием событий революции, увиденных глазами не русского вельможи XVIII в., а французского палача, непосредственного исполнителя «грозного закона» эпохи «ужаса»:

«Все, все они — его минутные знакомцы — чредою пройдут пред нами по гильотине, на которой он, свирепый фигляр, играет свою однообразную роль. Мученики, злодеи, герои — и царственный страдалец, и убийца его, и Шарлотта Корде, и прелестница Дю-Барри, и безумец Лувель, и мятежник Бертон, и лекарь Кастен, отравляющий своих ближних, и Папувуань, резавший детей...» (XI, 94—95).

Думается, что в обоих этих — столь различных по жанру — произведениях использован сходный художественный прием.

И послание «К вельможе», и статья «О записках Самсона» написаны до июльской революции 1830 г., привлечшей к себе пристальное внимание Пушкина и всего пушкинского круга. В России это было время горячих споров Пушкина и других участников «Литературной газеты» с Булгариным, Гречем, Полевым и другими противниками «литературной аристократии». Обвиняя Пушкина и его друзей в «аристократизме» и пренебрежении к представителям русского «третьего сословия», литературные противники поэта под флагом защиты «всесословности» культуры поддерживали реакционный уваровский курс «самодержавия, православия и народности». Это вызывало в качестве ответной реакции новое усиление Пушкиным защиты роли потомственного, независимого и просвещенного русского дворянства как гаранта независимости народа перед лицом самодержавия и неразрывно связанной с тронем своим положением и имущественными интересами новой знати.

С этой полемикой связано обращение Пушкина в 1830 г. к эпохе французской революции на страницах «Литературной газеты».

В заметке, помещенной в ней (1830. 9 авг. № 45) и приписанной Пушкину еще П. В. Анненковым, мы читаем: «Эпиграммы демократических писателей XVIII века <...> приутоновили крики: *Аристократов к фонарю* и ничуть не забавные куплеты: *Повесим их, повесим*» (XI, 282). Эту заметку Пушкин позднее нашел нужным разъяснить в четвертой части («Разговор») посмертно опубликованной статьи «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений». Здесь поэт, во-первых, назвал тех «демократических писателей», которых «Литературная газета» имела в виду в приведенной заметке («добродетельного Томаса, прямодушного Дюкло, твердого Шамфора и других столь же умных, как и честных людей, не гениев, но литераторов с отличным талантом»), а во-вторых, уточнил свою общую оценку французской революции XVIII в.:

«Б. О фр<анцузской> революции Лит<ературная> Газ<ета> молчит и хорошо делает.

А. Помилуй, да посмотри же, читай: les arist<ocrates> à la lanterne и повесим <их, повесим>. — Ça ira.

Б. И ты видишь тут фр<анцузскую> революцию?

А. А ты что тут видишь, если смею спросить?

Б. Что тогдашняя чернь остервенилась противу дворянства и вообще противу всего того, что не было чернь.

А. А вот я тебя и поймал: а отчего чернь остервенилась именно на дворянство?

Б. Потому что с некоторых пор дворянство было <ей> представлено сословием презренным и ненавистным.

А. Следовательно я и прав. В крике les arist<ocrates> à la lanterne вся революция.

Б. Ты не прав. В крике les arist<ocrates> à la lanterne один жалкий эпизод фр<анцузской> р<еволюции> — гадкая фарса в огромной драме» (XI, 171; XI, 17).

Итак «Великая французская революция», по Пушкину, — «огромная драма», а подмена революции призывами к беспощадному, стихийному террору против «подозрительных», которые в устах лишенной политического сознания и руководства толпы превратились в крики: «аристократов (и притом всех! — Г. Ф.) к фонарю» и «повесим их, повесим!» — всего лишь одна ее — и притом не определяющая общего исторического значения ее — часть, «гадкая фарса».

В первой половине 1830 г. Пушкин пишет также в своих заметках о русском дворянстве: «Средства, которыми совершают переворот, не те, которыми его укрепляют. — Петр I одновременно Робеспьер и Наполеон. (Воплощенная революция)» (XII, 205, 485). Слова эти свидетельствуют об известной переоценке поэтом фигуры Робеспьера: теперь Пушкин видит в диктатуре Робеспьера, несмотря на сохраняющееся у него отрицательное отношение к якобинской диктатуре и личности самого Неподкупного, исторически необходимый и закономерный этап революции, в ходе которой безоглядное, смелое и решительное разрушение старого предшествует политическому и юридическому закреплению ее положительных для общества результатов.

Июльская революция 1830 г. во Франции, с одной стороны, появление во Франции первых серьезных исследований о Великой французской революции, написанных представителями новой школы во французской историографии — Минье (1823) и Тьером (1823—1827), — с другой, побуждают Пушкина в 1831 г. задумать собственный очерк о революции. В середине июня 1831 г. он пишет Е. М. Хитрово: «Я предпринял исследование («une étude») французской революции и умоляю вас, если возможно, прислать мне Тьера и Минье. Оба эти сочинения запрещены. У меня здесь есть только „Мемуары, относящиеся к революции”» (XIV, 176, 428; под «Мемуарами, относящимися к революции», Пушкин имел в виду, очевидно, в первую очередь вышеупомянутое двадцатитрехтомное собрание Бервиля и Барьера).

Работа Пушкина над трудом по истории Французской революции осталась незаконченной, и сохранившийся в бумагах поэта материал, относящийся к ней, дошел до нас в виде планов, выписок и набросков. Материал этот детально исследован и прокомментирован Я. И. Ясинским и Б. В. Томашевским.<sup>48</sup> По своему содержанию материал этот распадается на ряд заметок, конспектов и планов, систематизированных в Большом академическом собрании сочинений Пушкина под названием «О французской революции» (XI, 202—203, 435—441) и «О Генеральных штатах» (XII, 196, 482), выписок из «Journal des Débats» от 1 июля и «Gazette de France» от 5 июля 1831 г., из «Истории муниципального права во Франции» Ф. Ж. М. Ренуара (1829), «Размышлений о конституции и о ее гарантиях» Б. Константа (1814) и «Опыта о нравах» Вольтера (XI, 442—449; ср. 505—508, 517; выписки эти сделаны рукою Пушкина и Натальи

Николаевны) и записи устного рассказа о наполеоновском перевороте 8 брюмера 1799 г. очевидца событий этого дня испанского посланника в Петербурге Паэса (подтвердившего, по словам Пушкина, рассказ об этом дне наполеоновского маршала Бурьена; XII, 204, 484—485). Как уже отмечалось выше, проконспектированные Пушкиным сочинения составляли лишь малую часть книг его библиотеки, посвященных эпохе революции.

Не повторяя здесь сказанного о замысле неосуществленного труда Пушкина Я. И. Ясинским, Б. В. Томашевским и другими исследователями, подчеркнем лишь одно обстоятельство, наиболее существенное на наш взгляд: его труд по истории французской революции не был задуман как труд чисто исторический; вопросы, которые Пушкин намеревался в нем поставить, (о чем свидетельствуют его конспекты и планы), были неразрывно связаны с размышлениями поэта о перспективах борьбы против самодержавия в России после 14 декабря, т. е. о возможных путях русской революции.

Статья в «*Journal des Débats*» вызвала интерес Пушкина прежде всего тем, что в ней нерушимая власть «закона» как основы государственного строя была противопоставлена «кровавой диктатуре 1793 года» (XI, 578). Эта идея французской статьи непосредственно перекликалась с нравственно-политической программой оды «Вольность» и других произведений Пушкина 10—20-х годов.

Изучая историю французского государственного строя со времен Каролингов и до середины XVIII в., Пушкин подчеркивает, что права нации уже при самом возникновении монархии во Франции подверглись нарушению со стороны государственной власти:

«Пипин узурпировал <...> власть, которая была поручена его рвению и честности, власть, которую ни народ, ни он не должны были располагать, не обосновав этого в общих интересах», — выписывает Пушкин из книги Ренуара (XI, 444, 579). В дальнейшем, в условиях феодального порядка, власть короля в средневековую эпоху уравнивалась ролью Генеральных штатов, избранных «всеми народом» и «выражавших его волю». Таково было «право Франции» («*Journal des Débats*») (XI, 444, 579). «Генеральные штаты, — выписывает Пушкин из «Опыта о нравах» Вольтера, — были подобны парламентам Англии; и парламент Парижа был тем же, чем суд королевской скамьи в Лондоне» (XI, 446—449, 583).

«Статус, установленный Генеральными штатами, был по существу республиканским — духовенство и дворянство, представляя собой верхнюю палату, не были ступенью между королевской властью и народом, но лишь одной стороной той же палаты» (XII, 196, 432), — замечает Пушкин, развивая далее свою мысль в заметке «О Генеральных штатах». После же роспуска их король «и верховные собрания: наследственные или избранные небольшим числом, постоянные или годичные, контролирующие и ограничивающие королевскую власть и разделяющие с монархом управление государством, исполняли „волю народа“, выраженную на этих собраниях». В дальнейшем «узурпация парламентов произошла от узурпации королей» (т. е. нарушение Закона и «воли народа» королем вызвало нарушение ее также парламентской буржуазией) («Gazette de France»). (XI, 444, 579).

Высоко оценивая историческую роль Генеральных штатов, Пушкин не соглашается с мнением Сиейеса (которое он ошибочно приписывает будущему президенту Учредительного собрания и мэру Парижа Байи), противопоставившего на заседании депутатов третьего сословия 17 июня 1789 г. духовенство и дворянство третьему сословию, которое Сиейес считал единственным полномочным представителем всей нации. «Менее всего возможно, — приводит Пушкин слова Сиейеса, — чтобы 24 миллиона человек против 200 000 имели половину голосов». На это Пушкин возражает Сиейесу: «Но 200 000 уже были в каком-то отношении избранной частью нации, ее элитой, облеченной несомненно чрезмерными привилегиями, но представляющей просвещенную и обладающую имуществом ее часть. Значит, бессмыслицей было обезличить их, следовало лишь внести необходимое исправление. Противным здравому смыслу было не рассматривать, их, эти 200 000 человек, как часть 20 миллионов.

Третье сословие=нации минус дворянство и духовенство. Рабо Сен-Этьенн=народ <минус> его представители (XII, 196, 482; русский перевод исправлен. — Г. Ф.).

Сходную мысль — о необходимости иметь в стране «корпус, который народ не имеет права избирать, а правительство не имеет права распускать», — Пушкин выписывает из книги Б. Констана, который характеризует таким образом государственную роль палаты пэров (XI, 445, 580).

Поддерживая как программу и цель революции единство нации (народ+дворянство+духовенство), «принцип наследования» (являющийся, по мнению поэта, оплотом народной свободы, гарантией независимости потомственного дворянства как от давления короля, так и от давления «улицы», народной толпы<sup>49</sup>), «взятие обратно прав», захваченных феодализмом, «политическую свободу» (XI, 445, 580), Пушкин, обращаясь к истории французской революции XVIII в., ставил перед собой задачу обосновать собственную свою общественно-политическую программу, сложившуюся после поражения восстания 14 декабря. В этом состояло, думается, ядро задуманной, но не осуществленной им в 1831 г. статьи, посвященной истории Великой французской революции, главные идеи которой тесно связаны с проходящими через всю его жизнь и отраженными в хронологически близких к его замыслу очерка о французской революции заметках о русском дворянстве, его роли в прошлом и будущем развитии России (в том числе — в перспективах будущей русской революции).

После 1831—1832 гг. мы встречаем в критико-публицистической прозе Пушкина лишь отдельные замечания о Французской революции XVIII в. Едва ли не наиболее важное из них по своему историческому значению — замечание в «Путешествии из Москвы в Петербург» (1834—1835) о положении французского крестьянства накануне революции и после нее:

«Фон-Визин, лет за пятнадцать перед тем («Путешествием» Радищева. — Г. Ф.) путешествовавший по Франции, — замечает поэт в главе «Русская изба», — говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю. Вспомним описание Лабрюера, слова госпожи Севинье еще сильнее тем, что она говорит без негодования и горечи, а просто рассказывает, что видит и к чему привыкла. Судьба французского крестьянина не улучшилась в царствование Людовика XV и его преемника... <...> Все это, конечно, переменялось, [и я полагаю, что французский земледелец ныне счастливее русского крестьянина.]» (XI, 231, 257). Здесь Пушкин впервые непосредственно связывает французскую революцию со столь актуальным для России его эпохи крестьянским вопросом.

Интересно, что в «Путешествии из Москвы в Петербург», откликаясь на мысли Радищева о свободе книгопечатания, Пуш-



кин возвращается к той общей формуле соотношения Закона и Свободы, которая была впервые сформулирована им на заре его поэтической деятельности, в 1817 г., в оде «Вольность»:

*«Что и составляет величие человека, ежели не мысль? Да будет же мысль свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении законов, налагаемых обществом»* (XI, 235).

Тогда же в набросках статьи «О ничтожестве литературы русской» (1833—1834) поэт как бы подводит мысленный итог своей общей оценке революции, подчеркивая, что она была подготовлена всем ходом французской истории XVIII столетия — столетия, имевшего «роковое предназначение»:

*«...великий век миновался. Людовик XIV умер, пережив свою славу и поколение своих современников. Новые мысли, новое направление отозвалось в умах, алкавших новизны. Дух исследования и порицания начал проявляться во Франции. Умы, пренебрегая цветы словесности и благор<одные> игры воображения, готовились к роковому предназначению XVIII века. <...> Влияние Вольтера было неимоверно. Следы великого века (как называли французы век Людовика XIV) исчезают <...> Смерть Вольтера не останавливает потока. Министры Людов<ика> XVI нисходят в арену с писателями, Бомарше влечет на сцену, раздевает до нага и терзает все, что еще почитается неприкосновенным. Старая монархия хохочет и рукоплещет.*

Старое общество созрело для великого разрушения. Все еще спокойно, но уже голос молодого Мирабо, подобно отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается...» (XII, 271—272; ср.: 505—508, 517).

В последний раз Пушкин обращается к теме революции XVIII в. в статье 1836 г. «Александр Радищев», предназначенной для «Современника», но запрещенной цензурой и также опубликованной посмертно. Отрывок из нее о трагедии великого русского революционера XVIII в., ставшего очевидцем того, как дорогие ему освободительные идеалы просветителей стали в 1793—1794 гг. проповедоваться «с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни», мы уже приводили выше. Содержащееся в этом отрывке противопоставление «колоссального Мирабо» с его «львиным рыком» («льва революции», по выражению К. Маркса)<sup>50</sup> и «сентиментального тигра» Робеспьера

(которого Пушкин, как мы уже знаем, тем не менее несколькими годами раньше по историческому значению сопоставил — как и Наполеон — с Петром I, признав последнего соединением Робеспьера и Наполеона), подчеркивает мысль поэта о несовместимости Свободы и Закона с насилием, кровью и жестокостью. Эту свою гуманистическую мысль Пушкин завещал последующей русской литературе — Тургеневу, Толстому, Достоевскому, Чехову, а вслед за ними и литературе сегодняшнего человечества и нашего общества.

<sup>1</sup> См.: *Модзалевский Б. Л.* Библиотека Пушкина. СПб., 1910.

<sup>2</sup> *Пушкин.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1949. Т. 12. С. 196. — Далее ссылки на это издание даются в тексте (римской цифрой обозначается том, арабской — страница).

<sup>3</sup> См. об этом: *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958.

<sup>4</sup> Ср.: *Манфред А. З.* Великая французская революция. М., 1983. С. 232, 233, 357—388.

<sup>5</sup> См.: *Томашевский Б. В.* Пушкин и история французской революции // *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 178—180; *Манфред А. З.* Великая французская революция. С. 366—372.

<sup>6</sup> *Лотман Ю. М.* Пушкин — читатель Сен-Жюста // Учен. зап. Тарт. ун-та. 1960. Вып. 98 (Тр. по рус. и слав. филологии. 3). С. 312—131.

<sup>7</sup> См.: *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. С. 437; *Лотман Ю. М.* Об отношении Пушкина в годы южной ссылки к Робеспьеру // Русско-европейские литературные связи. М.; Л., 1966. С. 316—319. См.: *Эфрос А.* Рисунки поэта. М., 1833. С. 324, 326, 332, 335.

<sup>8</sup> *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. С. 178—179.

<sup>9</sup> Там же. С. 175; ср.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1 (1813—1824). С. 682—684.

<sup>10</sup> *Мейлах Б. С.* Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 98; ср.: РО ИРЛИ, ф. 244, оп. 25. № 371, л. 35 об.

<sup>11</sup> *Мейлах Б. С.* Пушкин и его эпоха. С. 99; ср.: РО ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 371, л. 36—37.

<sup>12</sup> *Мейлах Б. С.* Пушкин и его эпоха. С. 98—99; ср.: РО ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 371, л. 36—37 об. — Значительно более официальный характер имеет освещение событий революции в позднейшем учебнике Кайданова (см.: *Кайданов И.* Руководство к познанию всеобщей политической истории. 2-е изд. СПб., 18234. Ч. 3. С. 300—308).

<sup>13</sup> *Томашевский Б. В.* Пушкин и история французской революции // *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. С. 177.

<sup>14</sup> Там же. — В научной литературе о Пушкине — в частности, в работах А. Н. Шебунина, Б. В. Томашевский и Л. И. Вольперт — содержатся ут-

верждения, что в своей оценке французской революции Пушкин в значительной мере опирался на анализ и оценку ее в трудах Жермены де Сталь. На наш взгляд, мысль эта нуждается в ограничении и уточнении. Как справедливо отметил тот же А. Н. Шебунин, в своих ранних брошюрах о революции Ж. де Сталь утверждала, что Робеспьер правил «через посредство низов общества» и что «с падением его пала и власть низов» (Шебунин А. Н. Европейская контрреволюция в первой половине XIX века. Л., 1925. С. 21). Идеалом же ее была «республика собственников» (там же. С. 23). «Чтобы кончить революцию, надо найти центр и общую связь <...> Этот центр собственность», — пишет, излагая выводы г-жи де Сталь, и Л. Вольперт (Вольперт Л. И. А. С. Пушкин и г-жа де Сталь: К вопросу о политических взглядах Пушкина до 1825 г. // Французский ежегодник. 1972. М., 1974. С. 287). Высоко ценимый Пушкиным Мирабо был, по убеждению м-м де Сталь (которая противопоставляет его своему отцу, идеализируя образ последнего), представителем «дурных принципов революции», «человеком без морали», «трибуном по расчету и аристократом по вкусу» (Madame la Baronne de Staël. Considérations sur les principaux événements de la révolution française. (Oeuvre posthume. Paris, 1818. Т. 1. Р. 257—259). Робеспьер, по мнению м-м де Сталь, стремился всего лишь к «личной власти». Ее собственным идеалом были конституция 1795 г. и власть Директории (Ibid. Т. 2. Р. 141, 159—166). Наконец, высоко отзываясь о русском крестьянстве, Сталь считала Россию вследствие отсутствия в ней третьего сословия не подготовленной к конституционным реформам, чрезвычайно высоко оценивая при этом личность и историческую роль Александра I (Ibid. Т. 2. Р. 403—406). Вот почему нельзя не согласиться с М. А. Лифшицем, что идеология Пушкина и русских дворянских революционеров, боровшихся с самодержавием, и взгляды Ж. де Сталь, Б. Константа и других французских либеральных мыслителей и историков первой четверти XIX в. (сложившиеся в условиях после победы буржуазии во Франции) представляют не одну и ту же, а две принципиально разные стадии в развитии политической и общественной мысли. Это, разумеется, ни в какой мере не колеблет того высокого уважения, с которым Пушкин относился к Ж. де Сталь, Б. Констану, а позднее — к французским историкам эпохи Реставрации (Ср.: Лифшиц Мих. Пушкинский современник // Литературный критик. 1939. № 12. С. 243—250).

<sup>15</sup> Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира» // Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л. 1984. С. 206—211.

<sup>16</sup> Сын отечества. 1813. Ч. 10. № 11. С. 241—243.

<sup>17</sup> Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира». С. 209.

<sup>18</sup> Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1. С. 53—54.

<sup>19</sup> «Мучеником» считали Людовика и Ж. де Сталь, и братья А. И. и Н. И. Тургеневы. «Бедный» Лудовик! Ты не заслужил своей участи; ты пострадал за своих предшественников, — заметил А. И. Тургенев 25 февраля (9 марта) 1803 г. в своем геттингенском дневнике под свежим впечатлением лекций Эйхгорна о казни Людовика XVI. (Архив братьев Тургеневых. СПб. 1911. Вып. 2. С. 198; ср.: Там же. С. 191, 194). Близкую точку

зрения занимал, как отметил Б. В. Томашевский, и Н. И. Тургенев в «Опыте теории налогов» (1818) — ср.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 1. С. 166—167.

<sup>20</sup> См. об этом: *Алексеев М. П.* Ремарка Пушкина «Народ безмолвствует» // *Алексеев М. П.* Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. С. 221—252; ср.: *Манфред А. З.* Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1978. С. 225.

В научной литературе, посвященной оде «Вольность», ее политические идеи не раз ставились в связь с идеями Монтескье, Куницына, Радищева, Державина. Однако, думается, что не менее важна зависимость политической доктрины «Вольности» от воззрений Руссо. В статье «О политической экономии», напечатанной в пятом томе «Энциклопедии» Дидро и Даламбера (1755), Руссо замечает: «...одному только Закону люди обязаны справедливостью и свободой <...> как только один человек попытается независимо от законов подчинить своей частной воле другого человека, он тотчас же выходит из гражданского состояния и ставит себя по отношению к этому человеку в состояние чисто естественное, когда повиновение никогда не предписывается иначе, как силой необходимости <...> Если он (правитель.— Г. Ф.) должен заставить других соблюдать законы, то с еще большим основанием должен соблюдать их он сам <...> так как все обязательства, налагаемые обществом, взаимны, то нельзя поставить себя выше Закона...» (*Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М., 1969. С. 116—117). Здесь же Руссо указывает на «согласие, которое царит между силою Закона и свободой гражданина» (Там же. С. 129). Сходные идеи Руссо развивает в трактате «Об общественном договоре» (1762): «когда государь больше не управляет Государством сообразно с законами <...> он узурпирует верховную власть <...> тиран — это король, который правит с помощью насилия, не считаясь со справедливостью и законами». (Там же. С. 216).

<sup>21</sup> *Скатов Н.* Русский гений. М., 1987. С. 116—126.

<sup>22</sup> Ср.: Там же. С. 117, 122.

<sup>23</sup> О том, что понятие «закона» в «Вольности» имеет не только гражданское, политическое, но и нравственное содержание, свидетельствует сопоставление «Вольности» с юношеским стихотворением Н. И. Тургенева, сочиненным им на десять лет раньше, 1 апреля 1807 г. (первые четыре строки этого стихотворения Н. И. Тургенев затем предпослел в качестве эпиграфа своим дневниковым записям весны 1807—лета 1808 г.):

*Закон Природы* есть святейший,  
Который все должны хранить,  
А разум истинный, чистейший  
Щитом закона должен быть, или  
Закона духом должен быть.

(Архив братьев Тургеневых  
СПб., 1911. Вып. 1. С. 36, 51, Ср.:  
Поэзия декабристов. Л., 1950. С. 631)

<sup>24</sup> У исследователя легко может возникнуть соблазн провести прямую линию от пушкинского идеала Свободы, основанной на Законе, стоящем выше как царей, так и народа (которые не имеют равно права «властвовать Законом»), к позднейшим словам поэта в стихотворении «Из Пиндемонти» (1836):

Зависеть от властей, зависеть от народа —  
Не все ли мне равно?

(III, 420)

Такого соблазна не избежал Е. Г. Эткинд (см. *Эткинд Е.* «Союз ума и фурий» (Пушкинские мятежники // Россия=Russia. 1987. № 5. С. 61). Но стихотворение «Из Пиндемонти» написано в другой исторической обстановке: «народ» здесь — скорее чернь (или парламентское большинство), чем активно действующий на политической арене «народ» эпохи первой французской революции, как в «Вольности». К тому же «Вольность» направлена в первую очередь против гнета тирании — откуда бы он ни исходил, «сверху» или «снизу», — защиту «падших рабов», т. е. угнетенного тиранией человечества. В стихотворении же «Из Пиндемонти» речь идет в первую очередь о свободе поэта, т. е. свободе и независимости личности его и поэтического творчества (как и искусства вообще) и от монарха и его слуг, и от тех, кому «печной горшок» дороже велений бога поэзии. Как справедливо указано рядом исследователей, в стихотворении «Из Пиндемонти» слова «зависеть от народа» перекликаются в первую очередь с оценкой использования буржуазией парламентской демократии в статье «Джон Теннер», навеянной чтением книги Токвиля.

<sup>25</sup> *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. С. 180—181.

<sup>26</sup> Ср. образ Аристокитона в связи с обращением к теме греческой борьбы за независимость в стихотворении «гречанка верная, не плачь — он пал героем» (1822). Непосредственно с мотивами «Кинжала» соотносится и стихотворение «Дочери Карагеоргия» (1920), написанное сходным размером (хотя и без строф):

Гроза луны, свободы воин,  
Покрытый кровию святой,  
Чудесный твой отец, преступник и герой,  
И ужаса людей, и славы был достоин.  
Тебя, младенца, он ласкал  
На пламенной груди рукой окровавленной;  
Твоей игрушкой был кинжал —  
Братоубийством изощренный...

(II, 148)

<sup>27</sup> Ср. записи Пушкина в записной книжке 1820—1822 гг.: «Орлов говорил в 1826 г.: революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция здесь, конституция там... Господа государи, вы

сделали глупость, свергнув Наполеона» (подлинник по-французски; XII, 304, 486).

<sup>28</sup> Ср.: *Алексеев М. П.* Пушкин и проблема «вечного мира». С. 174—177.

<sup>29—31</sup> Смерти Байрона посвятили в 1824 г. свои стихи также К. Ф. Рылеев («На смерть Байрона», опубл. 1824) и В. К. Кюхельбекер («Смерть Байрона», отд. изд.: М., 1824). В стихотворении Кюхельбекера образы «вдохновенных певцов» Байрона и Пушкина сближаются:

Певец любимец росиян,  
В стране Назонова изгнания,  
Немым восторгом обуян,  
С очами, полными мечтанья,  
Сидит на крутизне один;  
У ног его шумит Евксин —...

(Поэзия декабристов. Л., 1950.  
С. 75—77, 300—307)

Здесь же фигурируют и герои Байрона, в том числе «страдалец Тасс», воспетый Байроном в «Сетованиях Тасса» (противопоставленных Пушкиным «Умирающему Тассу» Батюшкова).

В отличие от Пушкина Кюхельбекер, как и Рылеев, не извлек тех трагических уроков их опыта греческого освободительного движения, которые отразились в письмах о нем Пушкину 1824 г.:

Бард, живописец смелых душ,  
Гремящий, радостный, нетленный,  
Вовек пари, великий муж  
Там, над Элладой обновленной!  
Тиртей, союзник и покров  
Свободой дышащих полков,

— писал о Байроне Кюхельбекер. (Там же. С. 304, 306).

<sup>32</sup> Ср.: *Сандомирская В. Б.* «Андрей Шенье» // Стихотворения Пушкина 1820—1830 годов. Л., 1974. С. 29—30.

<sup>33</sup> См. о Пушкине и А. Шенье: Путеводитель по Пушкину // *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1931. Т. 6. С. 381—382; *Томашевский Б. В.* Пушкин. М.; Л., 1961. Кн. 2 (1824—1837). С. 65—71; *Сандомирская В. Б.*: 1) Первый перевод Пушкина из Андре Шенье // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1974. Т. 7. С. 167—184; 2) Переводы и переложения Пушкина из А. Шенье // Там же. Л., 1978. Т. 8. С. 90—106; 3) «Андрей Шенье». С. 8—34 (здесь же наиболее подробная сводка литературы вопроса).

<sup>34</sup> См. полемику по этому вопросу: *Томашевский Б. В.*: 1) Заметки о Пушкине. IV. О «возвышенном галле» // Пушкин и его современники. Пг., 1917. Вып. 38. С. 70—72; 2) Пушкин и французская революционная ода (Экушар Лебрен) // Пушкин и Франция. С. 315—359; ср.: *Томашев-*

ский Б. В. Пушкин. М.; Л., 1956. С. 157—159; *Нольман М. Л.*: 1) След «возвышенного галла» (Пушкин и Андре Шенье) // XXIII Герценовские чтения. Л., 1970. С. 44—46; 2) Парадокс о «возвышенном галле» // Вопр. литературы. 1973. № 6. С. 172—176; *Скатов Н. Н.* Русский гений. С. 119—121.

<sup>35</sup> Ср. в черновике более раннего письма к Вяземскому от 4 ноября 1823 г.: «...говоря об романтизме, ты где-то пишешь, что даже стихи со времен рев<олюции> носят новый образ — и упоминаешь об А. Шенье. Никто более меня не уважает, не любит этого поэта — но он истинный грек, из классиков класик. <...> От него так и пашет Феокритом и Анфологиєю. Он освобожден от италянских concetti и от французских Antithéses — но от романтизма в нем нет еще ни капли» (XIII, 381).

<sup>36</sup> См.: *Эткинд Е.* «Союз ума и фурий» (Пушкинские мятежники) // Россия=Russia. 1987. № 5. С. 72—76.

<sup>37</sup> Это верно отмечено В. Б. Сандомирской. См.: *Сандомирская В. Б.* «Андрей Шенье». С. 19.

<sup>38</sup> *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 327.

<sup>39</sup> Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 746—747.

<sup>40</sup> См. об этом: *Плимак Е.* Традиция борьбы и исканий (Радищев, Чернышевский, Ленин) // Вопр. литературы. 1987. № 11. С. 136—138.

<sup>41</sup> В этих словах можно усмотреть не только характеристику Шенье, но и намек на самого Пушкина и его стихотворение «Кинжал».

<sup>42</sup> Как установила В. Б. Сандомирская, здесь подразумевается К. Г. Мальзерб, в попытке которого спасти жизнь Людовику XVI во время процесса над ним участвовал А. Шенье, написавший от имени Людовика XVI послание к Конвенту, в котором он настаивал на своем праве обратиться к суду народа (См.: *Сандомирская В. Б.* «Андрей Шенье». С. 28).

<sup>43</sup> Наиболее всесторонний, глубокий и тонкий анализ стихотворения «Андрей Шенье» см. в вышеназванной статье: *Сандомирская В. Б.* «Андрей Шенье». С. 8—34. Ср.: *Эйдельман Н. Я.* 1) Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 306—335; 2) Пушкин: Из биографии и творчества. 1826—1837. М., 1987. С. 37—41.

<sup>44</sup> Об автобиографическом смысле элегии ср.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 2. С. 65. — Критику односторонней концепции Томашевского как стихотворения всего лишь узко биографического и обоснование заключенной в нем исторической концепции поэта см.: *Благой Д. Д.* Творческий путь Пушкина (1813—1826). М.; Л., 1950. С. 339—340; *Сандомирская В. Б.* «Андрей Шенье». С. 12—14, 26, 27, 30.

<sup>45</sup> Ср.: *Сандомирская В. Б.* «Андрей Шенье». С. 12, 13, 31—34.

<sup>46</sup> Там же. С. 23—31.

<sup>47</sup> См.: Рукою Пушкина. С. 745—747.

<sup>48</sup> *Ясинский Я. И.* Работа Пушкина над историей Французской реолюции // Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Вып. 4—5. С. 359—385; *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. С. 201—211. Ср.: Рукою Пушкина. С. 512—532. — В сборнике «Рукою Пушкина» в статьях Ясинского и Томашевского перечислены, кроме названных ниже, и другие

книги, которые могли дать поэту материал при изучении истории Франции и эпохи революции.

<sup>49</sup> Ср. слова Пушкина: «Наследственность высшей знати есть гарантия ее независимости — противоположное неизбежно явится средством тирании, или скорее трусливого и дряблого деспотизма. Деспотизм: жестокие законы, мягкие нравы» («О дворянстве» — XII, 205, 485).

<sup>50</sup> *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 756.*